

Сергей Нефёдов

Лунная походка
Избранное



Издательство Игоря Розина
2007

УДК 882-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Н 58

Составление и послесловие

Николая Болдырева

В оформлении использованы живопись и графика

Сергея Нефёдова



Нефёдов С.М.
Н 58 Лунная походка. Избранная проза.– Челябинск: Издательство Игоря
Розина, 2007. – 288 с.: ил.

УДК 882-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-9900697-7-0

© Издательство Игоря Розина, 2007
© Текст – Сергей Нефёдов, 2007
© Дизайн – Владислав Кузнецкий, 2007

От составителя



Сергей Нефёдов живописец. Чувство холста придает ему жизненное равновесие. А еще он любит забраться в ванную и сочинять истории. Эти истории о прошлом, потому что он любит мечтать о нем. Почему о прошлом? Не только потому, что в прошлом заключено и наше будущее и настоящее, но еще и потому, что «в прошлом деревья были другими» и мир мерцал словно выложенный цветными драгоценными камешками. Мы приходим к осознанию себя — из прошлого. Но в этом прошлом мы были детьми и не задумывались о своем блаженстве, тем более о его тайне.

Впрочем, один раз автор этой книги мечтает о будущем: о необыкновенной лестнице, по которой можно взобраться на небо, где тебя ждут в прекрасном городе твои тайные друзья. Но эту лестницу надо смастерить самому.

Как сказал издатель этого необыкновенного сборника новелл, не стоит дополнительно подсвечивать осколок стекла или озерную гладь, на которые падает лунный луч: чудесное мерцание исчезнет. Он сказал это в том смысле, что не следует выкатывать тяжелых орудий литературного и иного глубокомыслия по поводу

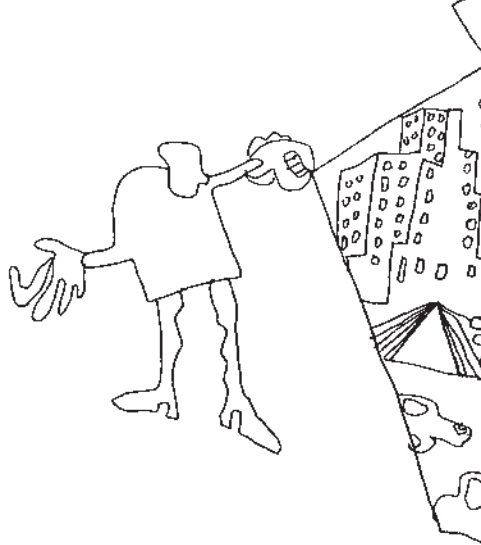
легких и изящных «статуэток» нефедовской прозы. Свет софитов убьет лунный луч. Вполне согласен: рассказы и миниатюры, собранные под этой обложкой, едва ли нуждаются в комментариях, как не нуждается в комментариях маленький мальчик, увидевший во сне волшебную девочку, а потом, через много лет, узнавший ее в фойе оперного театра. Вполне достаточными комментариями стали рисунки автора, которыми составитель и издатель (с помощью художественного редактора) проложили книгу. Такими рисунками автор неизменно, в течение многих-многих лет, инстинктивно оснащал поля своих рукописей.

Итак, никаких орудий, никаких софитов: пусть свет лунных мерцаний струится сам по себе, без всяких подсветок. Пусть исповедальное признание сменяется буффонадой и иронией, а страшная история убийства, увиденного тремя разными людьми, абсолютно по-разному ими пересказанная (чувствуется легкое дуновение от Акутагавы), сменяется джазовыми импровизациями, а потом переходит в тихий народный напев, где сливаются воедино таинственное блаженство жизни, тоска и душевная боль.





Сергей Нефёдов



ЛУННАЯ ПОХОДКА

ИЗБРАННОЕ

Друзьям по литературно-философской стезе
посвящает автор эту книгу

I

СИНЯЯ РОЗА





Синяя роза

Если б можно было вспомнить весь сон, повторявшийся в последнее время, то, возможно, Павел Андреич обрел бы тогда утраченное душевное равновесие. Сон состоял из какой-то песни, слов которой нельзя было разобрать полностью, а лишь урывками — Александровский централ и еще несколько имен, из которых запомнились Катя-Катерина да, пожалуй, пустая и пошленькая фраза про трусы. Отмести, забыть, но в свете как раз недавно прошедшей передачи про семь параллельных миров — из них первый, астральный, почему-то как матрешка делился на последующие шесть, затем ментальный как наиболее устроенный, не такой зыбкий, как астральный, и с примерами из жизни некоего Калугина, — всё для Павла Андреича приобретало ценность. Впрочем, более чем скромное сновиденье пролетало и по пробуждении лишь на короткое время оставляло не занятым место в душе, после чего с новой яростью туда вгрызались: люстра, комод, пол, потолок, стены и окна и

вытесняли всё. Стены не обещали ничего, напротив, угрожали раздавить, уничтожить, стереть в пыль. Как страшные монументы из аляповатого бетона, они напирали, они орали о полной безнадежности любых порывов.

Как-то после работы прилег он и в сумерках лежал на боку, когда прямо перед ним на стене появилась ярко-синяя роза, она медленно совершила круг и плавно растворилась, чтоб появиться опять в ярком сиянии и опять плавно прокрутиться; красоты необычайной. Затем Павлу Андреичу открылся как бы экран, и увидел он деревья с шевелящейся под ветром листвой, очень красивые, чем-то похожие на пальмы, но не пальмы. Картинка сменилась на водный простор, и над переливающейся отсветами водной гладью высоко в воздухе плыли фрегаты, и было видно каждого из экипажа отчетливо, потом предстали воины из золота, каждый с копьем. По одному появляясь, они вытянулись в шеренгу, он насчитал их 154, в спокойном молчании они несли охрану. На этом видение прекратилось.

А потом Павел Андреич увидел ясно — была детская горка с девочкой, сидевшей на вершине ее гладкой железной поверхности и поющей свою песню. И песня казалась такой знакомой, он слушал ее как нечто неимоверно важное, и через эту песню, с ее мелодией, от которой так хотелось плакать, ему открывалась какая-то великая прекрасная тайна.

- Иди ко мне, — пригласила его девочка.
- А как же люстра, комод, газовая плита и стены с окнами?
- Это тебе все приснилось, — сказала, звонко смеясь, девочка.

Они сидели на вершине детской горки и, беззаботно болтая ногами, пели эту объединяющую их песню. И Павел Андреич, ощущая себя счастливейшим на свете человеком, забыл о своих пятидесяти прожитых в городе годах, где было всё кроме песни.

- Ты будешь ко мне приходить? Мы с тобой не расстанемся?



Маргарита и инвалид

Маргарита любила дождь. Маргариту любил инвалид. И когда она выходила под дождь, инвалид выкатывал в кресле-каталке. Шел дождь, то там, то тут трогая чуть пожелтые листья. Прилетела синичка и, передернув подмокшие перья, клюнула раз, другой крошки оброненного кекса. Лишь бы дождь не тянулся подолгу. Ты опять не ответила на письмо. Я не люблю писать писем. А почему трубку не берешь? Так. И весь разговор исчерпан. Лишь бы дождь продолжался до вечера. Он остужает, успокаивает и навевает. Знаешь, когда я был здоровым, я любил гонять под дождем на велике. Тогда была другая жизнь, все было по-другому. Ей хотелось сказать: ну и живи, оставайся там, в своей комсомолки, поднимай целину, борозди космические просторы театральных подмостков. Но вместо этого она поддела подлетевший листок своей стройной ножкой, и листок прилип к туфельке, как украшение.

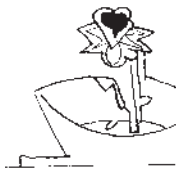
Поди много девушек у тебя было? Много, не много, — инвалид оживился, — но одна была. Как ее звали? Звали ее обыкновенно — Валерия. Ну расскажи, что ли, как ты с ней познакомился. Вот сейчас он начнет врать, что она его полюбила с первого взгляда и они дрожали по подъездам. Видишь ли, Маргарита, есть вещи, о которых не принято распространяться, они от этого портятся, тускнеют, теряют свой неповторимый аромат. Аромат? Это интересно. Маргарита нагнулась и, отклеив листок, пустила его в зеркальную

лужу. Каааар! — прокричала ворона. Не знаю. Аромат, не аромат, с каким-то определенным запахом это связать, пожалуй, затруднительно. Вот как пахнет дождь? Причем здесь дождь и девушка? Не скажи. Инвалид закурил, пальцы у него задрожали. Наверно вы читали друг другу стихи? Ей показалось смешным, парень с девушкой читают стихи, как в театре, со сцены со спецэффектами, она искусственно взволнованна, и он притворно восклицает, и вся эта буффонада предназначена, чтоб достать зрителя, сделать ему праздник. И какой-то неуловимый жест девушки-артистки с ногами манекенщицы вдруг донесся, как свежестью дохнуло из окна. Тембр голоса, вот что выдало инвалида. И чем же все это кончилось? А чем кончается дождь? Так для чего все это? Ну, вот и дождь прошел. Да, кажется, кончился. Слышишь, пахнет электричеством? Это от молнии.

Маргарита, привет! Из красной «альфа-romeo» показался улыбающийся молодой человек в длинном светлом плаще, с сережкой в левом ухе и несколькими фигурными проборами на коротко стриженной голове. Из открытой дверцы машины звучала прям волшебная музыка да и только. Медленно Маргарита грациозной походкой подошла и что-то сказала такому оживленному хозяину иномарки. Улыбка исчезла с его лица: «Ну как знаешь». Машина стремительно тронулась, завизжав на повороте.

— О чем вы с ним беседовали?

— Да так.





Принц Чича

Часть I

Как-то старший сын соседского деда Афанасия, пообедав у ма-тушки, пригласил меня покататься с ним на грузовике, и я, так как поблизости бабушки моей не было — она разговаривала с сосед-ками через два дома, сидя на лавочке, а предложение было просто головокружительным, — вскарабкался к Гене на сиденье, бабушка всплеснула руками, и мы помчались, резко сорвавшись с места. Вот наш поселок замелькал скворечниками, всполошенными курами, пацанами, завистливо глядящими нам вслед и сладко вдыхающи-ми бензиновый аромат; разлапистые тополя, расцветшие рябины, оконца домов с преломленным бегущим в догонялки солнцем. Мы мчались по городу, где я был лишь в сопровождении мамы или папы, для покупки мне, например, новой фуражки или игрушки — жестяной бабочки ультрамарин, которую толкаешь впереди на палочке на колесах и она машет крыльями. Меня вечно било током от дверей троллейбуса, неприятная, доложу вам, штука, когда тебе пора уже в школу, а ты... Открылся простор, дома нарастали и про-носились мимо, мы отражались — мелькали в витринах, играло ра-дио, духовой оркестр проезжал, отставая от нас, в открытом трам-вае, сверкали трубы, звенели тарелки и гулко бухал барабан.

Мы обогнали «Победу», и я показал пацану в очках язык, а он обиженно отвернулся. Скатились с берега и остановились у переливающейся светом речки, чтоб зачерпнуть резиновым ведром воды — я уже разбирался в технике — чтоб залить в карбюратор. И дальше, дальше, дорога сменилась пыльной, мы стали под экскаватор и нас загрузили: наша машина, я ошибся, что поделаешь, самосвал, и загруженная перла теперь совсем не так. У киоска Гена остановился и, хлопнув дверцей, пошел, я сидел у приоткрытого окна и пялился в лужи с перемигивающимися бликами, Гена принес бутылку малиновой газировки и пирожки в промасленной бумаге, пирожки оказались с ненавистой квашеной капустой, их очень любила бабушка и пичкала меня ими, когда ходили мы с ней, например, в переполненную церковь, где я ничего не видел, кроме спин дядек и теток, вплотную стоящих, и поблескивающих одеяниями священников, лишь изредка виднеющихся из-за толпы. Не подав виду, я мужественно съел пирожок и постарался осушить бутылку, от газировки щипало в носу, наворачивались слезы, она отрыгивалась, пенилась, вкуснотища жуткая! Но в машине трясло, и я, так и не одолев ее, облился немного, передал Гене, тот вмиг выпил и выбросил пустую в кусты.

Потом я оказался на коленях у одетой во все светлое, яркое, праздничное, весело смеющейся девушки, от которой пахло красивыми духами и еще чем-то, чем пахло от мамы, приходящей с работы, где она точила катушки, которых у меня была визанка, текстолит, как я узнал позже. Как бублики. Бублики! Я ничего не знал вкуснее, заходишь в магазин — запах сказочный, они висят розовые, с маком, с ванилью, желтые, слюнки текут.

Девушка непрестанно улыбалась Гене, а Гена, со сдвинутыми бровями, курил, смотрел вперед, жал на газ, иногда оборачивался и тоже улыбался ей, блестя стальными фиксами по бокам рта. Нас то и дело подкидывало, и я со смущением чувствовал своей спиной ее мягкие и упругие груди. Затем зарулили на новостройку, девушка

подхватила меня, и мы оказались в комнате, поразившей обилием света: здесь все было свежeweыбелено, свет лез, как сено, пучками и устилал пол, отдающий масляной краской, такие широкие окна, такие рамы, не то что в нашем домике со ставнями.

Ночью от непривычной обстановки я разрыдался, девушка в розовой комбинации с кружевами и просвечивающими белыми в голубой горох трусиками напоила меня чаем, посадив к себе на колени, угощала блинами, макая их в сгущенку. Из прихожей несло Гениной спецовкой, пропахшей соляжкой.

Во сне мне приснился медведь, и я опять проснулся и заревел от того, что мама, и папа, и бабушка далеко, а я здесь один, а они — Гена и Даша — скрипят кроватью в полосах лунного света, и страшно в темноте. Мы снова сидели с Дашей на кухне, она ничуть не показывала вида, что я их умаял, от нее пахло уже не одними духами, но и бензиновым Геной, она кормила меня арбузом, елыпалы, поливая его медом, смотри не описайся, горшок под кроватью, да что я, маленький что ли. Она читала мне сказку по откуда-то взявшейся книжке с картинками про Машу и медведя, а я объедался арбузом, прижимался к ее теплой груди, мне нравилась Даша, почти как моя мама. Проснувшись, я нашарил под кроватью горшок, пожурчал, тихо закрыл крышкой и хотел было уже лечь спать, но в тишине бродили полосы лунного света, раскатившись по полу, по спавшим Гене и Даше в обнимку со сползшим одеялом, и я бродил по кажущимся мягкими и живыми полосам лунного света. Потом мое внимание приковал то ли игрушечный, то ли настоящий мальчик — принц с чалмой на голове и пером, и острыми башмачками, он сидел и смотрел на меня с буфета, как живой, в шелковых шароварах. Он сказал:

— Не бойся, пойдём со мной, там нам будет интересно и хорошо!

Спрыгнув бесшумно с буфета, тихо открыл дверцу, чуть скрипнувшую, и широким жестом пригласил меня следовать за собой! Там мерцал потайной ход; чтоб войти за ним, надо было

нагнуться, потом открывался широкий темный коридор, освещенный свечами в руках у слуг, каждый раз кланяющихся нам. На троне, к которому мы подошли, сидела девочка с пышными бантами, с руки на руку она перекидывала легкий, словно воздушный, шар, наполненный плавающими в нем сверкающими рыбками и звездами, судя по всему, он был мягкий, и мне захотелось тоже с ним поиграть.

— А можно я тоже, мне хочется поиграть, как вы?

— Пожалуйста, мальчик, но у вас вряд ли выйдет.

И действительно, стоило мне попробовать прикоснуться к податливой поверхности предложенного мне шара, как он вмиг рассыпался на мелкие брызги, и рыбки застучали хвостиками об пол. Принц улыбнулся и своим скипетром коснулся лужи брызг, раскатившейся под ноги, и все брызги, как намагниченные, словно шарики ртути, скатились в один переливающийся и точно переполняющий сам себя шар. Шар подскочил опять, как надувной, до потолка, где пищали птицы, пару раз отскочил от стен и снова очутился в руках у девочки с пышными белыми бантами. Она протянула мне, словно утешительный приз, взяв с поднесенного слугой блюдечка, переливающееся всеми цветами радуги эскимо, которое я откусил, но не почувствовал привычного холода во рту; должно быть у меня был глупый вид, в зеркале, стоящем сбоку, девочка и принц улыбались, глядя на меня, а я замер с открытым ртом, из которого светился кусочек радужного эскимо. Девочка захлопала в ладоши и звонко воскликнула: «Чича! Чича!»

С потолка по свесившейся лиане спустилась лохматая, большая, но совсем не страшная обезьяна с забавными большими глазами.

— Не бойтесь, мальчик, ничего худого она вам не сделает.

— Да я и не боюсь,— смело заявил я, погладив обезьяну по пушистой шерсти.

— Вот и отлично. Чича, проводи мальчика до их папы. Мальчик, садитесь на нее, только держитесь крепче, когда вам покажется

страшно — закройте глаза и прижмитесь к ней сильнее. Чича наш друг. Ну же, вперед,— скомандовала девочка, указывая направление своей девчоночьей рукой с тонким браслетиком на запястье из разноцветных бусинок. Я схватился за шерсть обезьяны одной рукой и обнял ее ногами, в другой руке держа эскимо, как фонарик. Я оглянулся на принца и девочку с бантами и сердце мое сжалось от грустной, как мне показалось, улыбки девочки, мне на прощанье. Очень, очень красивой девочки, грустной улыбки, но совсем, совсем не безнадежной.

— Прощай, принц, прощайте, прекрасная девочка.

— Адъё!

И они помахали мне на прощанье рукой, девочка послала мне воздушный поцелуй, я было тоже ответил ей, но руки мои были заняты. Мы снялись с места, обезьяна мягкими, крупными прыжками помчалась по стенам, поднимаясь все выше и выше, как мотогощик в цирке, пока не открылось небо в алмазах звезд, и мы выскользнули из комнаты, оставив девочку с лицом, казалось, на всю жизнь мне запомнившимся, и это было так на самом деле. Мы вылетели в ночной город, с нами летела стая щебечущих птиц, а город с фонарями, мостом, серебрящейся рекой медленно поплыл вниз.

Мы огибали остроконечную башню, где на маленьком балкончике сидел на табуретке старичок с трубкой, дымящей кольцами дыма, в руках его была книга, и когда мы поравнялись с ним, она сама собой открылась на нужной странице, и старичок, поправив очки на носу, прочел: «И будет так, что ты будешь виноват, но вина твоя будет согревать тебя в дни ненастья». Книга захлопнулась, он помахал нам дымящейся трубкой.

И мы пошли курсом вдоль длинного ряда окон высотного дома, некоторые из окон были раскрыты, зажжен свет, и я видел: дети спали, а взрослые что-то приглушенно и возбужденно говорили друг другу, перекладывая чашки, тарелки, вешая галстуки и чулки на спинки стульев, платья, рубашки, костюмы на вешалки, то откры-

вая, то снова запирая шифоньеры, комоды, откуда то и дело летела моль, которую они ловили, хлопая в ладоши и шикая друг на друга, указывая на детей, подсыпали нафталин в кулечки, рассовывая по углам и чихая...

Прямо передо мной возник мальчик с натянутой рогаткой, нацеленной в упор, я его узнал, это был Петька — двоечник и второгодник, пацаны его боялись, потому что он где-то на химвоенскладе стибрил чего-то такого, что летело из рогатки, горело и взрывалось, так что не слишком-то приятно мне светило прямо в лоб, я зажмурился — бабах! тарарах!..

Я открыл глаза, передо мной стоял мой папа, он помог мне слезть с машины. Папа повел меня молча, что не предвещало ничего хорошего.

— Ты почему не сказал бабушке, что поехал с Геной, мы тебя потеряли, ты будешь наказан.

Папа не допускал никакого нытья, не то что мама. Мы проходили мимо кафетерия, где в витрине сидел большой плюшевый мишка, чем-то напоминающий Чичу. Он медленно с урчаньем поднимал двумя лапами стакан с медом, открывал розовую зубатую пасть и выпивал мед, медленно опуская на колени пустой стакан, который сам собой снова наполнялся медом, и процедура повторялась. Лапы с черными внушительными когтями и лакомый стакан. Мишка покосился на меня, какие длинные ресницы, прямо как у той девочки! И тут мне стало безутешно жаль, что никогда-никогда ее больше не увидать. Слезы сами собой побежали по щекам, я их вытирал кулаком с зажатой палочкой от эскимо, ее я положил на траву, оглянулся, какая-то птица мелькнула в ветвях и палочки от волшебного эскимо и след простыл. Мы зашли в кафетерий «Заводной Мишка», и папа заказал две порции мороженого, ну, вот сейчас, чтоб наказать меня, он съест все один. Но он протянул порцию с белыми шариками, облитыми медом, мне. Нет, ничто на свете уже не могло утешить мою истерзанную душу, хотя, конечно, мороже-

ное — классная вещь! В пустую вазочку от съеденного мороженого упал горящий голубым огоньком камушек.

— Папа! Сейчас рванет!

— Не рванет,— он подцепил ложечкой и вышвырнул в открытую дверь взрывчатку, тотчас раздался хлопок, от которого старушка с двумя сумками, проходящая мимо и глядящая куда-то вдаль, подпрыгнула неожиданно высоко, папа засмеялся, я тоже облегченно засмеялся.

— Пряма как девчонка со скакалкой!

— Ага!

Часть II

В седьмом классе нас привели в театр на «Щелкунчика». Ничего, посмотреть можно. Я дождался антракта и на выделенные мне деньги встал в очередь, чтоб купить пирожное и газировку. Пацаны баловались сигаретами в туалете. Очередь в буфете дошла и до меня, я взял пирожное на блюде с ложечкой, стакан с шипучкой и уселся за столик, скупающим взглядом обводя незнакомый контингент, отломил кусочек, положил в рот и поднес стакан ко рту запить. Прямо передо мной сидела *она* с подружками, весело беседуя за чашечкой кофе, с оттопыренным мизинчиком, я так и обомлел, застыл, уставясь в нее. Ну конечно, это была, о Боже мой, она! Невероятно, те же сияющие банты, тонкий браслетик из разноцветных бусинок, добавились часики и перстенок на среднем пальце, эти ее ямочки на щеках, эти ее золотистые волосы, локоны, платице лимонное в черный горошек, всё в этих, как их, тонких кружевах... Это уж потом я вспомнил, а тогда уставился ей прямо в лицо и забыл где я, что происходит. Мимо плыли разноцветные расплывчатые

пятна, а ее лицо с длинными ресницами непринужденно кокетничало перед мальчиками. Сколько это длилось, сказать определенно не берусь, кажется, раздался второй, а может и третий звонок, я опомнился, когда она совершенно неожиданно взяла недопитый стакан с газировкой и плеснула мне в лицо. Они вскочили и с хохотом зашелкали каблучками по паркету.

По моему лицу текла вода, смешиваясь со слезами счастья, я увидел себя в зеркале — идиотская улыбка на мокром лице. Кто-то из пацанов из нашего класса потащил меня за рукав в зал, и я, оставив полный стакан и пирожное, как робот двинулся вслед, но дойдя до дверей, ведущих в зал, остановился, пошел вниз, получил плащ в гардеробе и, прислонившись к колонне, стал ждать, когда кончится спектакль. Бежали облака, прохладный ветерок то сеял дождем, то сыпал листьями, кружащимися стайкой. Наконец повалил зритель, я уже стал нервничать, что вновь ее потеряю, когда кто-то сзади тронул меня за руку.

— Мальчик, вы простите меня, пожалуйста, не сердитесь, будьте так любезны, я поступила некрасиво. Как вас зовут?

Я почему-то сказал свою кличку: «Гаврош».

— А меня Аля, очень приятно с вами познакомиться,— она взяла меня под руку. — Вы не сердитесь на меня?

— Нет.

— Ну, согласитесь, нельзя же так меня компрометировать в глазах моих одноклассников?

— Согласен.

— Ну, вот и хорошо, вот мой трамвай, если вам по пути, вы можете меня проводить, это будет с вашей стороны мило.

И мы поехали в битком набитом пацанами и девчонками трамвае.

— Давайте спрячемся в уголок, я бы не хотела, чтоб меня видела наша преподаватель.

— Давайте.

Мы забились в угол, Аля глядела то на меня, то в окно, то на

часики, ага, значит проезжаем часы. Она помолчала, потом взяла меня за руку.

— Если хотите, можете завтра прийти в нашу музыкальную школу, у нас состоится концерт.

— Аля, а вы меня не помните? — спросил я с бьющимся часто-часто сердцем, во рту пересохло. Она пристально посмотрела мне в глаза, улыбнулась.

— Ну, вот моя остановка, вы можете меня проводить до дому.

Вечером я позвонил ей.

— Аля!

— Гоша! Ничего, что я вас называю так?

— Ничего, вы можете сейчас выйти на балкон?

— Собственно, прохладно, мама удивится, а в чем собственно дело?

— Увидите.

Я нарвал, с оглядкой, с клумбы цветов, перевязал их синей тесьмой, вскарабкался по пожарной лестнице до третьего этажа и, прижавшись тесно спиной, пошел по выступу, рискуя сорваться и разбиться вдрыбogan; когда я вцапался в перила ее балкона, дверь тихонько отворилась, и Аля, театрально прижав ладони к чулкам, ахнула:

— Вы с ума сошли! — она обхватила меня за рукава, между нами букет. — Это что, мне?! Спасибо, конечно, но вы просто хулиган, бандит какой-то, а если узнает мама, ко мне лазают по стенам, нет, вы положительно плохо воспитаны, вы просто безобразно себя ведете. Мне уже расхотелось с вами дружить, да вы сорветесь, а я просто чокнусь от ужаса. Вы собираетесь так же и обратно? Ни в коем случае! Сейчас я что-нибудь придумаю.

Она исчезла. Потом тихонько позвала.

— Пойдемте.

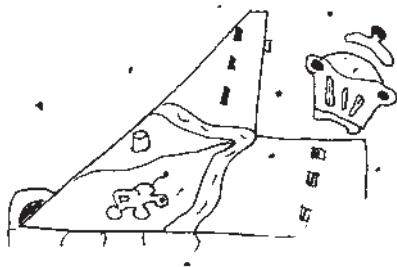
Она открыла дверь и выставила меня, вдогонку полетел букет. Я перешагнул его и поплелся по темной аллее, где-то гавкала соба-

ка, было так невыносимо скверно, что фонари расплывались от душивших меня слез, я сел на край лавки и больно кусал себя за губы. Я полный идиот, кретин, сопляк! Все самое обидное валилось и валилось на мою бедную голову. Ну почему я не такой, как все пацаны? Урод! Меня не интересует спорт, меня ничего не интересует, я конченный тип, папа меня накажет, что шляюсь Бог знает...

Послышались шаги. Она приблизилась ко мне, нагнулась, поцеловала меня в губы и убежала.

— При-ии-инц! Чи-и-ича-а-а! — услышал я издалека ее звонкий голос. В моей руке оказалась одна большая белая хризантема, завернутая в бумагу. Я приблизил ее к свету фонаря, на ней было написано аккуратным девчоночьим почерком:

— Позвони, Гаврош.





III

НЕУЗЛАТОНЕНОЕ



Неизглаженное

Промелькнули лица, мысли. Чувствую напряжение в области шеи и узнаю необъяснимое состояние власти над необъяснимым, которое должно войти, прорваться, стать. Раньше, давно, тогда еще; все это со мной, во мне, движет мной как посредником. Стихи, стихия, наплыв, шквал, волна подходит, ты остался там, в невыразимой попытке сказать о невыразимом. Что остается?

Я не понимаю, зачем мучить себя?

Так ведь это и есть самопервейший кайф.





Там

А может наш опыт не то совсем, чем нам кажется. Он образует нас для развития, идущего дальше нашей жизни. Ведь если мало пригодится наше развитие нам здесь, то зреет вывод: значит — там. Ведь без *там* мы становимся никем.

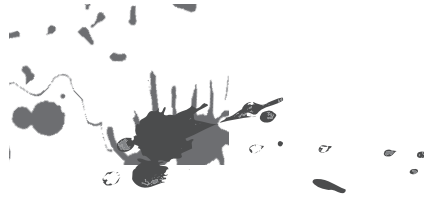


Плеск

Весь подоконник в цветах, за окном тенистая река, слышен плеск весел, блики света играют с листвой, тяжелые георгины с гудящей пчелой, в банке красные рыбки лениво шевелят хвостами. Мы садимся в лодку, отчаливаем, оставив дом, над нами щебет птиц да плеск весел.

Все дальше и дальше, и нам кажется: вот за этой завесой благоуханных ветвей откроется нечто, от чего на сердце торжественный плеск.





Печаль

Как приятно грустить, погружаясь в глубину меланхолии, ни с кем не общаясь, тихо слушать мерный ход мыслей, чувствовать себя полностью побежденным жизнью, ходом времени, отжившим, отзвевшим, облетевшим.

Никогда еще не было так хорошо и спокойно; ты видишь: ты все потерял; все, о чем мечтал, думал, что лелеял. Зачем было спешить на свидание и гладить брюки, галстук, рубашку? Успокойся, сердце, миры, о которых мечталось, тебе не нужны. Богатство, роскошь, изысканные яства — всё труха; и не имеет значения, во что одеваться, на чем спать. Жажда новых вещей, ощущений, волнений необычайных — все лишь туман, и лживы глаза, обещающие наслаждение. Стал я щедрый и печальный, ничего у меня нет, я никому не должен. Приятно плыть по реке вечером в тумане, блестят огоньки, перекликаются петухи. Звезды и девушки пускают по воде венки. Неси меня, река, вниз, вниз.



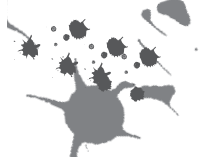


Шероховатое обаяние книги

Мы крадемся, раздвигая ветки тугих густых соцветий яблочно-грушевого рассвета, тянемся на голос, как бы поспеть, без нас не начинайте, а они уже приступили к моему любимому напитку оолонгу, там, в глуши сада, в обклеенных журналом «Крокодил» стенах, сидя на охапках сена, разбросанного там и сям, и сквозь щели под потолком просачивается тыквенный свет, ноздри чуют аромат шашлыка.

Все бы ничего, но нет в нас самодовольства и спеси, и эта с детства непреходящая дрожь перед осознанием книги, ее шероховатым обаянием.





Глиняные свистульки

Глиняные свистульки, в силу ли своей дикой безвкусицы, вовсе исчезли из нашего поля зрения. А когда-то они были несбыточной мечтой. Как я завидовал бойкому мальчику, обменявшему ворох тряпья на свистульку и самозабвенно свистевшему, зажимавшему то одну дырку на птичке, в чей хвост надо было дуть, то другую. Мальчику, стоявшему неподалеку от голубого обшарпанного фургона ремошника...

Это мое: глазурованная коричневая птичка-свистулька; дед, потерявший шапку, которую мы нашли, а в ней оказались птенцы; жестяные крашенные игрушки; банки из-под конфет... Все это личное, и это ключ к дверям, ведущим в волшебный город. Город дураков. И детей.



От твоих рук

Лететь в трамвае посреди индустриального пейзажа, венков бумажных, целлофановых девочек, офисных мужчин, пожарных — красных от постоянного волейбола на солнце.

А мой-от с сердцем лежит, ему инвалидность дают, а он не берет, год, говорит, остался, уж как-нибудь. Уж как-нибудь. Ты-то как живешь? Да на муке, на муке.

Отзынь от меня, голод голодных. Тяга к завершенности, вот это и есть зло. Недоверчивость к себе, к своему труду, неузнавание себя, нежелание знать, полюбить. Толпы ничего не видящих окромя своего кумира.

Я привезу тебе этот камешек симпатичный, и мы вместе станем гладить его, приговаривая — вот какой камешек, какая замечательная у него поверхность, внутри у него должно быть тепло и уютно, уютно и тепло от твоих рук.

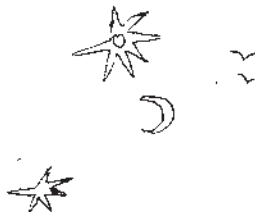


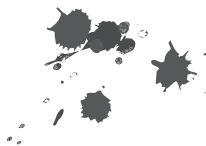


Озеро в горах

Продается «Крем клубничный» и «Нежинская рябина», продается советское шампанское со складов обкома, продается налим, лосось, язь, зубатка, гибрид карпа с карасем, последний отменно хорош в пироге; продается «Красное колесо» в 12-ти томах и Британская энциклопедия в 54-х, продается Бердяев и Лосский, продается Геннадий Айги, когда-то в разрозненных листках, ни на что не похожий, невразумительный, непонятный, как Велимир Хлебников, хотя допускаешь, что в этом и состоит величие...

А мы с тобой живем на развесистом дереве в цвету и разглядываем оттуда в бинокль происходящее, и не совсем пристально; птицы нам приносят еду в судках, по телефону узнаем новости, спим в неустойчивых спальнях мешках на гамаках, дерево наше ветвями упирается в скалы, скалы держат высокое чистое озеро, где редко досидит до утренней зорьки в черной шляпе заплывший сюда рыбак.





Преобразившийся священник

Под знойным небом Тель-Авива мы спросили у ключника в рваном халате, а может сторожа полуразвалившейся ограды и здания, не сказать чтоб нового, у тщедушного старика в капоре, что сидел тут возле ограды, отделяющей от глыб и кустарника здание, напоминающее церковь, у старика в ветхой одежке, небритого и, допуская, немытого с детства, спросили сперва на иврите: где тут у вас, извините, дорогой товарищ, то есть господин, конечно же, где, не подскажешь ли, досточтимый, по глазам вижу — все знаешь...

— Вы, поди, русские?

— Это мы-то, мы, по-твоему, русские? Ну а какие же, по-твоему, еще? Не подскажете ли, слиха бвкаша адони эйфо ортодокс ноц-рим? Кому повем печаль мою. Где тут у вас помолиться можно?

— Так ведь в Тель-Авиве нету церкви православной. Это вам надо в Иерусалим ехать на верблюдах, ослах, БТР, самоходках...

— Но, позвольте, ведь ваш храм... Кто вы, кстати, по профессии кем будете? На вашем храме крест водружен...

— Это верно, что крест; сторож я тут при храме, между прочим, григорианский у нас храм, и мы григорианской, кстати, веры будем.

— И когда у вас, замечательный вы человек, жаль не русский, служба происходит?

— А по субботам, по субботам с утра, в шабат значится.

— Ах вот как?

— Да-с, народ у нас, то есть прихожане трудящиеся, сами понимаете...

На субботней службе нам предстал в облачении священника не кто иной, как наш старый знакомый ключник. Вентиляторы гудели, гнали поток воздуха с потолка на прихожан, со стен на нас смотрела довольно аляповатая, но изрядно смелая живопись, фрески, и величественным, громким, уверенным голосом, с крестом в руке, пел псалмы преобразившийся священник.



Губная гармошка

...Тогда мы берем извозчика, да, да, старого забытого извозчика, и едем под стук копыт по аллеям, прислушиваясь и соединяясь с ритмом мягкого света через листву и со стуком копыт. Где-то я уже видел это все, ах, да, у крестной в маленькой комнатке, телевизор «Рекорд», плюшевые занавески, скатерть с кистями, шелковый абажур, ломти арбуза в синем блюде...

Они все втроем едут и поют, точнее, девушка и парень в цилиндре поют и размахивают руками, а извозчик аккомпанирует им на губной гармошке. После этого восторженного эпизода из трофейного, надо полагать, фильма я ходил в наш большой универмаг любоваться блестящей никелированной гармошкой «Weltmeister», выставленной в витрине. Что за дивные формы. А что за футляр темно-синего бархата, таких футляров еще поискать надо.



Чуждой свет

Вот он, ты, бредущий среди серых толп, сутулая спина, подавленный взгляд, впрочем, что я с тобой цацкаюсь, нечего с тобой валандаться, мне знаком твой прожорливый нор и неожиданный смех, диссонирующий в потолок. Ты придешь усталый домой, повесишь свой старый пиджак с дыркой на локте, откроешь форточку и, улегшись на тахту, старую, продавленную, зачнешь читать под пучком лампы, установленной сзади, доброе старое чтиво и забудешь про телевизор с его устрашающими новостями, забудешь про дырявую обувь, неуплаченные налоги, возраст, который можно назвать преклонным, случись он с кем другим, забудешься, забвение, забывчивость, за был, за будь, то есть за бытом, за рассудком, что-то потустороннее, да ведь не дай Бог разоткровенничаешься... Сон.

Собака лежит на холме, на стеблях папоротника, за ней добротный старый дом с колоннами, собака смотрит, точно ждет чего-то. А над домом с одной стороны фонарь, с другой же точно такого диаметра луна, вокруг ночь звездная, и идет свет от луны с одной стороны и свет от фонаря с другой, они равнозначны, но в месте своего пересечения, а именно над собакой, свет преобразуется из холодного в теплый, золотистых тонов, чудной свет. Собака и листья симметрично стоящих деревьев вокруг дома и дом с мерцающими стеклами за колоннадой, одето всё во всепреобразующий свет от скрещения фонаря и луны. Собака смотрит выжидающе со стеблей папоротника.





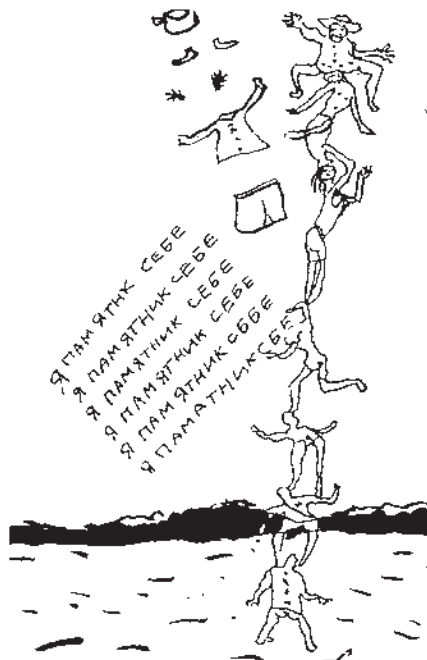
Многие лета

Как поет незнакомая девушка в эфире,— словно она умерла и вот воскресла! Розовые ломти колбасы на тарелке наполняют возбуждающим сильнейший прилив аппетита запахом все пространство под стеклянной крышей. Хочешь колбасы? Еще немного, и ты различишь музыку, звучащую там, вдали; по залитой солнцем каменистой дороге цокот копыт — это болтают две подружки, принимающие курс иппотерапии, диагноз — болезнь неотвязных домогательств. О, бедные жертвы секс-революции! Ты кто, палач или жертва? Я конь в пальто...

Это даже лучше, потому что не надо завидовать бедным несчастным «счастливым» людям; знать незнающим (и знать не желающим) о существовании тошноты как основной реакции на насилие и жестокость. Не надо им завидовать, весь ад у них впереди. Ты отвечаешь за свои слова? Я отвечаю за свои слова. Потому в последнее время с великим энтузиазмом (если не сказать с любовью) вспоминаются портреты Беккета с разинутыми и оскаленными пастьями, закрученные, как использованный презерватив: люди-обноски, обсоски, объедки (чьи? может свои же — объедки своих жующих стен, своих родимых все жрущих и выблевывающих мыслей; о, Господи, пошли мне мысль благу!).

И где-то из-за затылочной части подается мысль о вере и любви и надежде, что в самое последнее время будет всё, как на кар-

тинке Спенсера: откроются могилы, как двери «мерседеса», идущие вверх, и из них в ярком, слепящем свете выйдут в отутюженной двойке и крахмальной манишке и сосед справа, и сосед слева. Что я им тогда скажу? Что денег не было, а с пустыми руками неудобняк, только старые друзья принимают, они простят, они поймут, они нальют. Дай, Господи, всё чего просят, и многие лета, многие лета, мно-гие-е-ле-та!





Езда во время дождя

Чего мне не хватает, я это обрету. Но только не здесь, не сейчас, а где-нибудь и потом. Потом. Пройдет какое-то время.

Как тащат по асфальту что-то скрежещущее и издающее свирепый шум и грохот, и надо переждать, чтобы вернулась тишина. Оказывается, нет ничего лучше простой тишины догнивающего дня, скрипучих досок, воняющей хлоркой воды. В конце концов, и одной лампочки хватит, попользовался туалетом и выверни. Как звучит твой голос в пустой квартире? Я не собираюсь отвечать. Чего ты хочешь, о чем мечтаешь? Мечтаю о прошлом, хочу ничего не хотеть.

Я любил гонять во время дождя по лужам на моем легком спортивном велосипеде. Струи бегут по лицу и за шиворот, а ты жмешь на педали, сливаясь с дождем. Всё в воде и брызгах. И солнце из-за туч, асфальт как паркет сияет. Сверху от парка весь город как на ладони. Мой Толедо. Величественные облака медленно выстраиваются. Вымытые дома, улицы, окна, подъезды, скверы, сирени и духовые оркестры. Раз, два, три, начали!



Внутренний простор

Еще нельзя потрогать, еще невозможно убедиться, но зреет зерно замысла, пощелкивает где-то в глубине внутренней тайной силой. Будь осмотрителен, не рассыпь по дороге. И я бережно несу, стараясь не расплескать. Жаль, нет способа, чтоб это вылилось в четкую форму. Что поделаешь, это не относится ни к чему знакомому.

Как же выразить, как мне сказать о том, что болит и мучает, а потом отпускает, утешает? Я слов таких не знаю, да и нужны ли слова, когда голова безостановочно мелет и мелет. И только в минуту затишья начинаешь понимать... Это как подойти к незнакомой двери в душевной полутемной комнате, распахнуть дверь и в силу ли открытого простора, яркости и еще чего-то — захлопнуть и с бьющимся сердцем отойти, отдышаться.



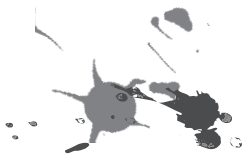


Траектория полета

И лишь иногда, в минуту душевного подъема, Писателю казалось возможным написать рассказ о чем-то знакомом и вместе новом, необычном, о волнующем, вот как сон послеобеденный, когда все становится ясным, легким и летит, несется куда-то, все делается возможным, ничего нет запретного и тот самый труд, о который спотыкается любой, хотящий что-то изобразить, выразить, да не выходит, уже преодолен, умеешь все, владеешь секретами мастерства, которые незаметны стороннему глазу и разве что мастер поймет и оценит удивительную работу, ремесло при помощи слов выражать душевное состояние персонажа, которого как раз Писателю и не удавалось создать.

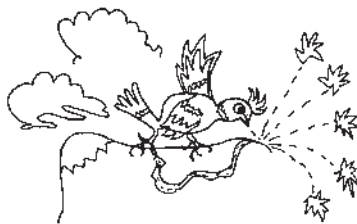
Писатель давно был не в состоянии написать ничего. Миниаютюры, выходявшие из-под его пера, лишь раздражали его и приводили в уныние. Писатель как бы и не был писателем, он грыз эмоции, чей ряд становился все темнее и непригляднее, он словно бы оказался в замкнутом кругу, все более сгущающемся, все более ожесточающемся, и приходил ему на ум случай из жизни богемы: один художник расстелил чистый холст на бетонных плитах под окнами высотного здания и, забравшись на самый высокий этаж, выпрыгнул из окна и разбился на этом белом холсте, оставив кровавый отпечаток своего падения.

На очередной выставке выставили это его последнее полотно в красивой золоченой раме.



Под кронами боярок

Чем дальше в лес, тем больше дров. Сегодня опомневаешься, и мы, где мы, что мы? И свистит вдали птица — жив ли, жив ли? Страшное чувство неудовлетворенности. Мало было, всего мало! Настоящее, что это, прошлое? Свойство прятать за горы сказочные замки. Оттого ты не весь тут, многое разбрелось по времени. Густой бурелом. Я как будто извиняюсь, хочется понравиться. А на меня смотрит усталыми глазами молодая жизнь. А я под кронами осенних боярок выкаблучиваю. Вот, послушай.





Рыжие листья

Они наверху отбивают чечетку. От них пахнет луком-пореем. Звенят ложки и вилки, беспорядочно сваленные в салатницы. Герань осыпает кровавые лепестки на белые салфетки.

Он, согнувшись, считает медь на ладони, и птичка капает на нечесаную голову.

Мчатся новые модели велосипедов, за ними пыхтит на ржавом «Урале» пыльный старик, позвякивая тарой в мешках в багажнике и на руле.

На гитаре играет рыжий парень, на полу лежит только что убитая им женщина. Как она улыбалась его приколам! Он не плачет, хочет успокоиться, и недопитое вино ползет к его рукаву, желая его утешить, утопить. И смущенную печаль, стоящую над рыжей головой, овеивает ветер туберкулеза, который ждет его за решеткой.

Мальчик поднимает осколок от разлетевшегося стекла, смотрит сквозь него на сузившийся мир, такой скучный и серый, с блестящей трещинкой.

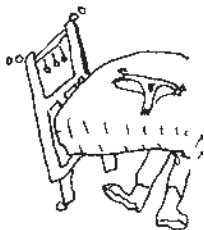
У забора сливает на лопухи досчитавший медь, теперь он двуглавый орел с полтинника, а брызги орошают пыльные туфли.

Они любили друг друга, но жили в разных концах города, они иногда соприкасались локтями в переполненном подъезде, и только крошечные снежинки объединяли их: если сощурить глаза, радужные. Да и где им было встречаться, он работал мусорщиком, она

сидела в библиотеке, за ней из-за газеты подглядывал сумасшедший сторож, решивший ее пристрелить из-за угла, но поднимаемый ветром мусор и хохот пьяных веселых компаний мешали ему сосредоточиться, в конце концов он убил пьяную женщину, забытую кем-то на веранде, потом засунул ствол себе в рот, но его стошнило зеленым салатом.

И все это записывал маленький старичок в стоптанных валенках, кряхтя залезавший по углой лесенке к своим пыльным гроссбухам, вытирая соплю засаленным рукавом, а крыса за весточку ждала у своей норы дольку заплесневелого сыра. Когда он засыпал, то велоколеса, презервативы, бутылки с щербинкой на горлышке — всё валилось на его лысую голову, потому что там, наверху, встречались библиотекарша и мусорщик, румяные от смущения; мертвая женщина хохотала над утонувшим в луже вина рыжим; пристреленная, оседлав сторожа, наяривала по его заднице армейским ремнем, а он плакал и просил у мальчика стеклышко, в котором, если его перевернуть, трещинка и снежинки всё расцветивали в радужные тона, и гроссбухи падали со стеллажей листьями вяза, дуба, канадского клена на заголенные плечи крысы, мирно спавшей на разросшихся серебряных буклях опочившего в стоптанных валенках старика.

И один мусорщик знал цену лениво летящей пули — с раскрытым ртом, полным желтых зубов.





Упование

Мы стояли в подъезде и грелись. Шел холодный дождь, очередь в шведское посольство роптала. Кажется, все, что могло достичь напряжения, достигло его, за этим последует нервный срыв. Мы несколько раз, взявшись за руки, вбегали в подъезд через дорогу, чтоб хоть немного погреться у батарей. Еще не совсем сошел снег. А за проволочной оградой стояло величественное и недостижимое здание шведского посольства, такое чистое, красивое, из яркого кирпича, оно олицетворяло все связанное с упованием на наш переезд.

Все это я вспоминаю ночью в русской квартире, сидя на кухне. Теперь никаких упований нет. И это ужасно. Пусть бы все снова рассыпалось, как картонный домик, и вся заграница оказалась бы мерзким клоповником, но чтобы момент ожидания обманного, лживого, упоительного повторить...

Не надо мне говорить о заблуждении, о том, что лучше худое да свое. Без упования на это красивое, чистое, яркое наша жизнь делается невыносимой, пошлой, пустой.

Я просыпаюсь в три часа ночи и больше не в силах уснуть. Нет упования. Как пусто кругом!





Черная молния

Я устал открывать краны, из них течет кровь. Ты плачешь в темноте фальшивыми слезами, но если включить свет, то оказывается — кровь размазана по щекам. С неба стучат по стеклу кровавые пятна.

И все же я верю, что тень моя белая. И кровь, если вскрыть мои вены, будет белая как молоко.

А листья летят черные. И мысли твои черные. И молния в небе черная. И черные объятия наши еще черней. Я боюсь закрывать глаза.

Но уходят корабли в синее море. И птицы, что провожают их, еще синей. И пальцы твои синие, и ресницы твои синие. А когда тебя долго-долго нет и никакой надежды нет, что ты появишься, я кричу в красное небо, и голос мой как синий огонь, он всех согреет, и мы будем жарить булочки у белого костра, протаптывая черные следы в оранжевых горах с синими листьями, с синими листьями.

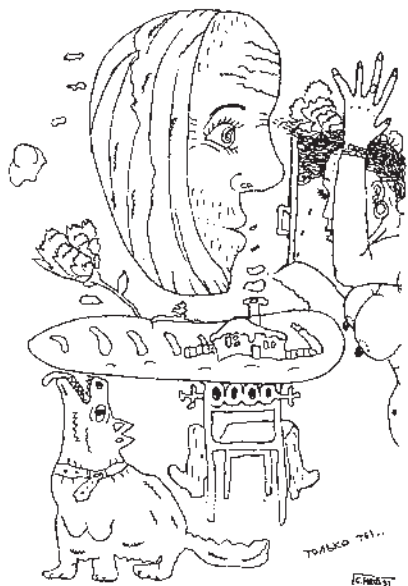




Письмо с обратным адресом

Мне не хватает тебя, я не знаю где ты. Мне не хватает тебя, и я не знаю, как тебя зовут. Наверное, я скоро умру, но мне не хватает тебя. Кто мне еще скажет — не надо, не умирай, куда ты спешишь. А что мне еще останется, ведь тебя невозможно найти, и вся Богом данная жизнь пролетела, она умчалась как тепловоз в степи, и те, с кем я ехал, уже сошли. Всё позади: майский гром, поцелуи в подъезде, крик нашего малыша. Мне осталось — закуриться в доску в отделении, где единственный праздник — телевизор за решеткой. Ты мне давно не снишься, а я хочу мучиться тобой. Да, пожалуй, я ничего так не хочу. Я опять засыпаю и задыхаюсь. Как бежали мы по траве, как плыли к острову. Конечно, ты скажешь — ничего этого не было. С тобой трудно спорить. И я вырубаясь, голова падает, ресницы не слушаются больше. Умереть, не слышать больше, как бьется сердце. Ты скажешь — Христос лучше тебя. Кто же с тобой спорит. И Богородица — первая на свете. О, как болят глаза, как болит сердце. Пожалуйста, пристрели меня, как лошадь со сломанной ногой. Это первый день нового года, и мне не хватает тебя. Но я верю, что ты есть. И все святые с радостью шли на пытку. Но я верю, что ты есть, они шли с радостью, потому что у них ты была. Дорогая, непредсказуемая игрушка. Как темно вокруг, мое мерзкое вонючее жилье, сколько лет отлучает меня от тебя эта мрачная яма, но я верю, и не важно, сколько световых лет нас разделяет. Я верю, всему на свете

вопреки, что мы будем вместе. Мне не надо никаких доказательств, никаких гарантий. Я люблю тебя, слышишь, я люблю тебя. Потому что ты должна существовать, вопреки всякому смыслу.





Когда вспыхнет

Никто не знает, когда вспыхнет спичка. Порой ее всю исчирикаешь об обратную сторону обложки книги и кинешь на пол, подпнув под стол. А иногда с первого раза.

Сейчас он решил подготовиться хорошенько, так как спичек оставалось всего две. Дрожали пальцы, и когда прикурил бычок, ладони заблестели. Липкий неприятный пот.

Особенно беспомощность перед смертью докучала по ночам. Открыв глаза, он начинал спешно молиться. И чем страшней становилось, тем быстрее и отчаянней восклицались слова молитвы, сливаясь в один вопль.

А дерево гнулось и махало ветвями в просвет между штор, освещенное бледным светом высокого фонаря.

Однажды под утро его коснулась благодать Божия. После бессонно проведенной ночи, после мыслей, скатывающихся к отчаянию, это было новое, как бы не зависящее ни от чего прежнего чувство. Как бы открытие еще одного, доселе неизвестного чувства.

Он лежал все в той же позе — на спине, ягодицы и пятки уже ничего не чувствовали. Бесчувственным казалось и все тело. А душа в это время ликовала, ее существование не определялось теперь одной мукой, боль схлынула, и он ощутил радость. Никаких особенных мыслей не было, но чувство, что именно так и должна кончиться его жизнь, — разлилось по всей душе ликованием.

Идея

Когда я подхожу к бумаге, мне кажется, я начну записывать нечто уже готовое, то, что есть у меня, и осталось лишь оформить кое-какие детали. Они-то сами собой вылезут. Стоит ли обращать внимание? Ведь главное — идея. А она есть — крупная такая, можно даже сказать — необъятная. Удивительно, каким образом я всю ее вмещаю. Мне весело, я возбужден и спокоен спокойствием особого рода — такое веселое спокойствие, уверенность. Можно, ничего не делая, жить одним ощущением этого события.

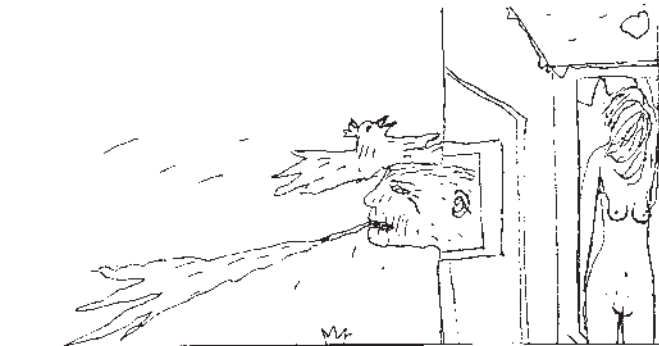
Просыпаясь утром, я проверяю первым делом — все ли в порядке? И когда получаю положительный ответ, долго лежу в постели, лелею. Настроение сохраняется на весь день. Важно только напоминать себе, подвигать себя к убеждению в необычности идеи. В ее свете меркнет любая неприятность. С работы турнули? Ничего, сколько угодно людей жили в страшной нужде. Жена ушла? Неудивительно: ведь не так-то просто восхищаться чистой идеей. А идея чиста, ничто не сможет опорочить ее, мою идею. И если пошатнется здоровье, а оно обязательно это совершит, лишь затем только, чтоб проверить мою верность, то и в этом случае можно заявить следующее: мало ли людей гибло за свои убеждения? Это красивая честная смерть, и ее возможность несколько окрыляет душу, такую нестойкую среди скопища соблазнов.

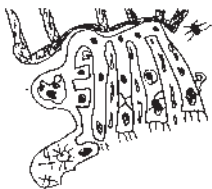
И главный из них — удобство. Удобство ради удобства. Приходится лишать себя приятного. И ради чего? Ради того, чтоб оказаться один на один с бумагой и после нескольких часов упорных, но безрезультатных стараний сказать, закурив бычок: невозможно объять необъятное.



Метод

Как-то на гулянке художник, подвизавшийся на портретах ВИЛа, когда его прижали к стенке коллеги по ремеслу, щелкнулся: — Я,— говорит,— вношу злобный настрой то в губы, то в глаза его, а то и распространяю в общее выражение лица. Присмотритесь внимательней. Улыбка Владимира Ильича в моем исполнении всегда с ехидцей, и выражение глаз ему я ставлю глумливое. Если тому, кто на него смотрит, погано и муторно, то тем больше в ответ засветится злорадства в портрете моего исполнения. Это мой метод борьбы со злом века. Не будьте же наивны, господа.





Голос Синатры

Голос Фрэнка Синатры я услышал впервые, стоя в поезде, идущем в город N. И мне все время после хотелось вернуться к ощущению голоса Синатры. Как-то мне дали послушать пластинки с его песнями, исполнитель весьма высокого уровня, ничего не скажешь, но того не было, открытия завораживающего, чего-то щемящего в ночи, какой-то неуловимой разрешимости всего разом. Я сижу в плаще, одетом поверх куртки для теплоты, и из кресла протягиваю ноги к электрообогревателю. Маленькое оконце почти не освещает комнату, потолок и углы которой темны от пятен плесени и паутины, ноги мерзнут, потому что во время последней грозы мои теплые кальсоны улетели с крыши неизвестно куда. Фрэнк Синатра теперь уже дремучий старикан (да и я здорово сдал, чего скрывать), он балагурит на сцене джазовых вечеров, пользуясь всегда одной и той же шуткой: — Простите, господа и дамы, пока мне еще не принесли подушку с кислородом, я вам немножечко спою, вы мне напомните, пожалуйста, некоторые слова.

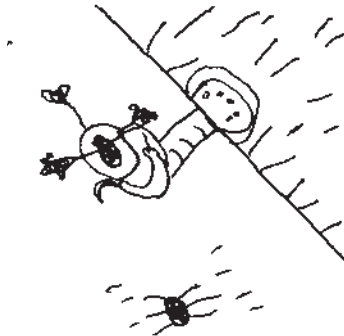
Мне тоже пора закругляться, я бы вам кое-что еще рассказал, но мне пора идти искать работу, без кальсон в Израиле долго не просидишь.



Я есть

Пустеет, уходят — шелест, шорох, шуршанье. Голова мерзнет. Танцплощадка с шарканьем ног, с шуршаньем юбок, капрона, английского белья. Схватить кусок и спрятать в нору. И греться в длинные выюжные, долговьюжные ночедни. Мы одни.

Мы одни, собираются тучи. «Я тебе говорила, я тебе говорила». Воз зеленой травы. Татарин идет с вожжами в руке. А в другой зажат серебряный рубль. Я куплю тебе булку, белку и барабан. Чтоб бить в него по нарисованной роже начальника. По роже! По роже! Бить, бить! Я есть, я есть!



Фонтан

Ночью фонтан стал бить вином. Возле фонтана проходил Вася. Вася выпил вина, сел на скамейку у фонтана и вспомнил, как ждал Машу.

В ясную погоду на ней было белое платье в черный горох, с коротким рукавом.

Родился сын Коля. Плохо учился, пил, посадили.

Дочь Люба вышла замуж и уехала в Норильск.

Маша умерла, Вася женился на Наде. Ездили в Крым, где чайки.

Вася выпил еще вина и умер у фонтана. Над ним склонилась ветка вяза. Ночные бабочки под фонарем обжигаясь кружили и падали.



Клоун

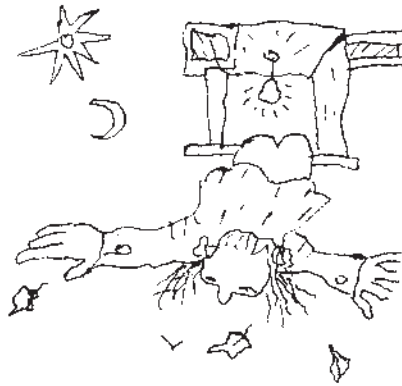
В тишине скрип дверной пружины. Удар. Облако снежной пыли, пара из подъезда и удаляющийся скрип шагов по снегу. Еще можно догнать, окликнуть, упросить вернуться, раздеть, напоить чаем...

Но из углов комнаты выходят клоуны в раздутых ярких штанах, они хохочут и хлопают в барабан: — Бум, бум, бух! Бум, бум, бух! — и от ударов сыплются яркие шарики.

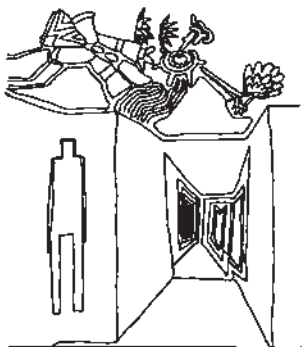
Навсегда, навсегда прощай детская беспечность.

Навсегда, навсегда прощай юношеская мечтательность.

Прощай.







Николай Болдырев

Второй номер

(Послесловие)

1

Когда в последнюю осень семидесятых прошлого века на занятии литературно-философской студии, которую я вел, появился высокий молодой человек с большими, словно бы пульсирующими изнутри, голубыми глазами, то в нашем довольно-таки добропорядочном кружке появился возмутитель спокойствия, которого, как оказалось, нам так не хватало. Очень быстро стало ясно, что Сергей Нефёдов, назвавший себя живописцем, не умеет и не хочет говорить на языке газет и очередей, учебных заведений или домашних гостиных. Характер его разговора не поддавался обычному учету: мысль его и ощущения совершали свои фрагментные, импульсивные дви-

жения, казавшиеся подчас хаотичными, порой даже не без юродственно-хулиганствующего оттенка, порой как бы мычашие, а порой буффонадно-издевательские; движения, которые сам их владелец и не пытался контролировать: он танцевал вместе с ними.

Срывался он с места так же неожиданно, как срывались с его губ лишь ему одному понятные реплики, и проводил он свое время совершенно безучетно: род занятий даже внутри дня, не говоря о большем, менялся спонтанно и почти ассоциативно. Он мог встать и уйти посреди моей длинной и самой важной умной фразы, иной раз даже направленной лично ему. И уйти не от природного хамства или желания меня задеть или произвести эффект, а только потому, что его сознанию становилось невыносимо подвергаться логико-рациональной обработке. Непозэтический, «разумный» стиль общения (или текст) его отравлял, почти убивал, во всяком случае — был для него непереносим. Бессмыслица заведенного некогда интеллектом и логикой порядка на этой планете была для него путающе-очевидной, и внутри него, мне кажется, уже жила сосущая боль сознания, что всё на этом шарике летит в таргарары: именно из-за этого и летит.

Одним словом, очень скоро я понял, что передо мной прирожденный, не инсценированный тип то ли битника, то ли хиппи, но нашего, чисто российского варианта. Этаким челябинский аллен гинсберг, не ведающий о существовании оного, обреченный никогда не приладиться к доминирующему за окном стилю и ритму — неважно какому: совковому ли, пост ли совковому, загранкапиталистическому ли.

Что греха таить — слегка хулиганская экстравагантность Сергея нравилась студийцам, и скоро его живопись, а потом и графика оказались в центре нашего внимания. Впрочем, они стоили и стоят того. В его работах щедро выплеснута его исповедальная, словно бы летящая нота, сколок его личности, и при романтизме на заднем плане, прикрытом дымкой самоиронии, она неизменно

вызывает ощущение природного простора, тайно присутствующего внутри человека.

2

Перед нами первая книга Сергея Нефёдова. До сего дня он известен в городе и за его пределами как живописец и график, оригинальность его лица здесь очевидна. Хотя ни успеха у законодателей мод, ни коммерческого успеха тем более он, разумеется, не достиг, да и не мог достичь. Во-первых, дух времени требует сегодня превыше всего технической изощренности. (Вот, скажем, конкурсы пианистов: бездна виртуозности и порой ни единой ноты чувства, боли, метафизических касаний). А Сергей оставался дилетантом. И даже не столько в смысле не следования какой-либо школе или неимения оной, не столько в смысле своей принципиальной фрагментарности и в этом смысле литературности, сколько в изначальном смысле слова: дилетант рассматривает свои занятия как сферу своей приватной свободы, своего поэтического инстинкта.

А во-вторых, дух времени восславляет агрессивных, пробивных, тусующихся — черты, всегда наводившие на Нефёдова смертельное уныние. К тому же у него так и не завелось хотя бы самого завалящего диплома. Да что диплома — он обречен был на то, чтоб быть изгнанным из школы, так что аттестат, скрипя, получал в вечерней. Однако и здесь он следовал своей органике, ибо органически был не приспособлен к обучению в нашей системе, где царствует интеллектуальная машина с ее логически монотонным накопительством и страстью к обобщающим формулам. Для инстинкта Сергея такая методика — абсурд и ложь, клевета на мироздание. Я думаю, ему повезло, что он не прошел через многолетнюю трамбовку мозга марксистско-ленинской или позитивистско-глобалистской или какой иной еще идеологией.

Однажды (а было ему восемнадцать лет) он разбил витрину магазина и получил полтора года «химии». Так он вырвался из объятий крепко его державшей улицы и оказался в кузнице ЧТЗ. Впервые начал много читать и одновременно писать, рисуя на полях рукописей. Потом три года нашего кружка, активизировавшего и чтение, и письмо.

3

Очень сложно в современном мире найти неподдельный продукт. Всё кишит имитациями и симулякрами. Государство имитирует демократию, являясь на самом деле плутократией, то есть властью богатых. Власть предрежащие и юристы изображают из себя гуманистов, чувствительно закатывающих глаза при слове «смертная казнь» и обрекая при этом десятки тысяч невинных людей на казни, разливанно и с фантазией производимые профессиональными и иными убийцами, дегенератами и маньяками. С заибблейских высот пришедший закон справедливости подменен болтовней о гуманности.

Впрочем, и индивидуально мы делаем то же самое. Один симулирует оптимизм, жизненную силу и победительность (весьма популярная ныне себя накачка), прячась от чувства пустоты и бессмысленности, стерегущего его по всем углам. Другой имитирует нонкомформизм и юродивость, сидя в престижном чиновном кресле и аккуратно состригая купоны тщеславия со своего экстравагантного образа. Третий изображает из себя собаку и благодаря этому оказывается в центре внимания прессы и художественного истеблишмента.

А что сказать о такой массовой ныне симуляции, которую условно можно назвать так: я важная шишка, я значимая персона, и жизнь мне удалась. А между тем человек полностью и напрочь одурочен манипуляционными механизмами самой растерянной из цивилизаций и лишь дергается как марионетка, не имея ни еди-

ного собственного жеста. Но что же в нем подлинно? Тайный ужас перед своим ничтожеством и пустотой и перед тем предательством своей сути, которое он совершил и совершает. Но он даже не знает об этом своем тайном ужасе. Он умрет, не узнав ничего о том, что здесь с ним производили.

А сколь массовы имитации в современной поэзии, столь количественно возросшей!.. Имитации поэтичности...

4

И, честно признаться, обложившись однажды кипами рукописей Нефёдова, я со страхом ожидал дилетантской игры в литературу, игры в запечатлевание «поэтических мгновений», симуляцию причастности к элите юродивых... И однако я ошибся: я ничего этого не нашел. К счастью и к моей огромной радости. Что же я обнаружил в этих текстах, тридцать лет накапливавшихся в столе художника, который ни разу даже не попытался отпечатать их на машинке, а тем более размножить? Я обнаружил фрагменты тридцатилетнего опыта душевных страд и самонаблюдений. В отличие от тех, кто рассматривает литературу и поэзию как форму игры, Сергей Нефёдов прибегает к бумаге и ручке как к средству общения со своим вторым, сновиденно-уединенным «я», постоянно соприкасающимся со смертностью своей плотской, истлевающей на глазах матрицы. Перед нами фрагменты опыта мучительно-сладостных соприкосновений нашей первой личности, зафиксированной глазами и мнениями наших знакомых, с нашей второй, потаенной, личностью.

Но кто же он, этот *второй номер* нас самих, которого нашел в своем бессознательном Юнг и который явился ему однажды в образе мудреца Филемона, став его гуру? Кто он, то существо в нас, которое способно быть нашим гуру? Да, он не совпадает с нашим дневным образом, с образом, зажатым в тиски фиктивности слов

и социумных игр. Номер второй — это подводная, всемеро раз большая, часть нашего, по счастью теплого, айсберга, которая каким-то образом сообщается с нашим предсуществованием, с нашей преддрожденностью. Второй наш номер — это та наша внутренняя родина, по которой вся глубина нашей ностальгии.

5

Так уж совсем нет игры? — спросит иронически читатель. Нет, конечно же, я получаю порой наслаждение от красоты движения слов и смыслов внутри миниатюр и рассказов Нефёдова, и в этом смысле многие его тексты, безусловно, исполнены тонкой игры. Но это игра эстетическая, это игра как часть самой словесной формы, жанра, если хотите, наработанного столетиями трудов наших предков, но никогда не игра экзистенциальная, то есть не игра в чувства, в переживания, в концепции, в мысли и т. п.

Рассказы Нефёдова в этом смысле не литература, то есть не то, что сочиняется и красиво упаковывается, дабы затем быть так или иначе проданным; нет, это скорее исповедь — исповедь человека, который видит и с ужасом чувствует тщету прожитой жизни, тщету наивных ожиданий, которыми мы были преисполнены в детстве и в юности. И вот в ночных порывах, раз за разом, он пытается, внимательнейше перетряхнув, пересмотрев всю свою жизнь, найти в ней не просто мед, тот, что пчела приносит в свой улей из инстинкта, данного ей природой, но и смысл.

Книга полна стонов и воплей и нежного шепота, самообвинений и самоиронии, ни в одном грамме, ни в одной ноте нет показной доверительности; никогда котурнов, никогда позирования: все из полноты осознания того факта, что победить в жизни невозможно. Можно лишь, преодолевая все немощи физические и душевные, выстоять, то есть отстоять свою подлинность, не предать свой *номер второй*.

6

На внешнем уровне лирический герой Нефёдова — слаб, он вполне осознает, что по всем общепринятым параметрам он — неудачник, аутсайдер, маргинал. Он немолод, он болен, он разбит, он жизнью побежден. Ничто, на чем строится земное человеческое счастье, ему не удалось: не осталось у него семьи, нет ни положения, ни денег, ни славы. Пожизненная бедность, пожизненная обочинность, пожизненная неудачливость, пожизненное одиночество, все растущее и растущее с годами... Но именно это, на мой взгляд, и делает его на самом деле победителем, потому что он отстоял свою глубинную нежность и доверчивость, свое чувство сродства с вещами и растениями. Он отстоял свое аристократическое право чувствовать едва ли не каждодневную душевную боль. Он не позволил себе потерять в себе себя двухлетнего. А победила его не жизнь, а те формы имитации жизни, о которых мы уже вкратце упоминали. А точнее говоря, они ничуть его не победили, они его отвергли, ибо он оказался для них несъедобен.

«Промелькнули лица, мысли. Чувствую напряжение в области шеи и узнаю необъяснимое состояние власти над необъяснимым, которое должно войти, прорваться, стать. Раньше, давно, тогда еще; все это со мной, во мне, движет мной как посредником. Стихи, стихи, наплыв, шквал, волна подходит, ты остался там, в невыразимой попытке сказать о невыразимом. Что остается?

Я не понимаю, зачем так мучить себя?

Так ведь это и есть самопервейший кайф». («Неизглаженное»).

Здесь не столько о муках творчества, сколько о муках попыток прорыва в ту свою настоящую, которая лежит за пределами возможности словесного выражения или описания. Это боль попыток самообнаружения в себе своего мудрого и счастливого двойника, своего «вечного человека» — того, который никогда не рождался и потому никогда не умрет.

Но это еще и боль души в моменты ее самообнаружения.

«А может наш опыт не то совсем, чем нам кажется? Он образует нас для развития, идущего дальше нашей жизни. Ведь если мало пригодится наше развитие нам здесь, то зреет вывод: значит — там. Ведь без *там* мы становимся никем». («Там»).

Герой Сергея Нефёдова, порой чудаковатый и нелепый, порой напоминающий Петра Мамонова из «Звуков Му», порой с натуральным, играющим глубоко в крови витамином русской юрности, тем не менее явно напряжен энергиями ожиданий внутренних перемен. И даже не только ожиданий. «Однажды под утро его коснулась благодать Божья. После бессонно проведенной ночи, после мыслей, скатывающихся к отчаянию, это было новое, как бы не зависящее ни от чего прежнего чувство. Как бы открытие еще одного, доселе неизвестного ему чувства...» («Когда вспыхнет»).

Один из великих русских кинорежиссеров говорил, обращаясь к самому себе, что настоящий, идеальный кинофильм должен быть подобен капле влаги, выжатой из камня. Представьте себе: из камня! Что же есть этот камень? В случае с малой прозой Нефёдова этот камень, из которого автор выжимает влагу музыки, — одиночество. То иной раз кажущееся почти бескрайним одиночеством (и тогда подпирают его самые главные вещи и наиглавнейшая среди них — смерть), в пространствах которого человек только и может взглянуть на мир и на себя как бы извне, отстраненным, свободным — вне иллюзий — взглядом. Без необманной полноты одиночества, то царственно прекрасного, то мучительнейшего, почти непереносимого, нет и не бывает поэзии.

7

Как-то я его спросил: «Живопись — ведь это иллюзия?..» Он моментально парировал: «Почему? Живопись — это жизнь. Это жизнь — иллюзия».

В юности он страстно увлекался Шагалом. Но, поселившись на полтора года в Израиле и обнаружив Шагала, как он выразился, в каждом тель-авивском кабаке, он потерял к нему интерес: ушел витамин.

На каких авторах корректировал Нефёдов свое чувство литературной формы? Проще говоря, кем он больше всего увлекался? Иваном Буниным и Сашей Соколовым, Сергеем Довлатовым и Сэмюэлем Беккетом, Гофманом и «1001 ночью». Омара Хайяма в переводах Плисецкого знает наизусть.

Осталось коснуться обязательной темы: о чем мечтаете, маэстро? В детстве он мечтал о десяти предметах, в том числе: о ластах, ружье для подводной охоты, велосипеде, пачке гуашевых красок, о двухтомнике «Граф Монте-Кристо», о морском бинокле, о торте с газировкой и чтобы непременно съесть и выпить — на крыше...

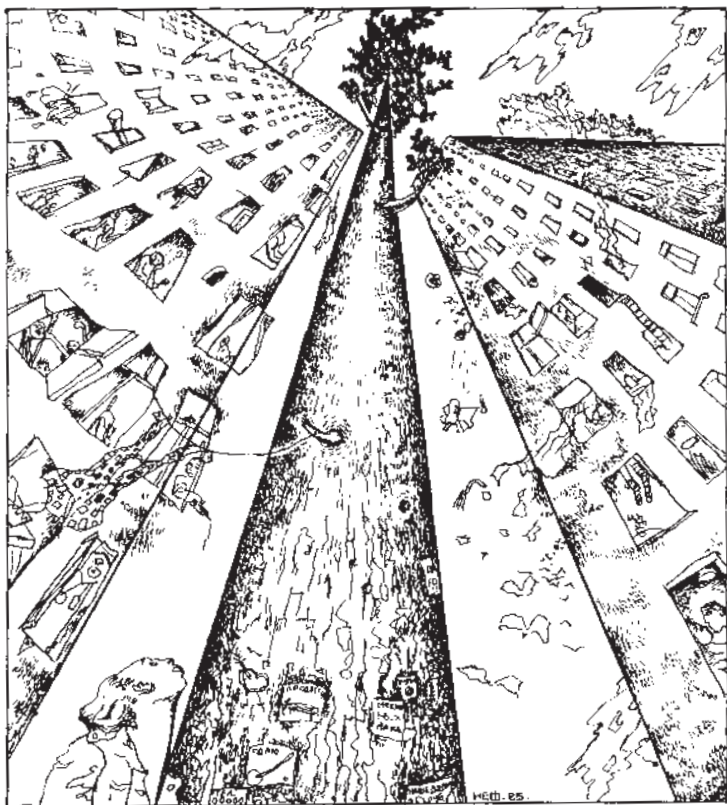
— Неужто — спрашиваю, — не осталось ни единой мечты?

— Нет, — отвечает, — мечта даже и сегодня есть, пожалуй, одна: прыгнуть с парашютом.

Пожелаем же дорогому автору!

11 апреля 2007





Об авторе



Сергей Михайлович Нефёдов (род. в Челябинске в 1953 г.) — художник самобытного дарования, творчество которого высоко ценят знатоки живописи. Участник международных биеннале в Москве, Санкт-Петербурге, Тель-Авиве, Нью-Йорке — вопреки тому обстоятельству, что он никогда не был членом какого-либо творческого союза.

«Лунная походка» — первая его изданная книга — включает новеллы и миниатюры, весьма необычные по жанру. В планах автора также издание книги стихотворений.



Содержание

От составителя5

ЛУННАЯ ПОХОДКА

I синяя РОЗА

Синяя роза 13

Маргарита и инвалид..... 15

Принц Чича..... 17

Краплин..... 27

Зябликов 31

Морская свинка № 1..... 40

Частная жизнь куратора Петрова..... 45

Фальшивая мелодия 49

Ордер..... 51

Райнер, О, Нил!..... 56

II ПОЖИРАТЕЛИ ГРЕЙПФРУТОВ

Пожиратели грейпфрутов	61
Боль и другие	69
Кроме нас двоих	72

III НЕИЗГЛАТОЛЕННОЕ

Неизглаголенное	83
Там	84
Плеск	84
Печаль	85
Шероховатое обаяние книги	86
Глиняные свистульки	87
От твоих рук	88
Озеро в горах	89
Преобразившийся священник	90
Губная гармошка	91
Чудной свет	92
Многие лета	93
Езда во время дождя	95
Внутренний простор	96
Траектория полета	97
Под кронами боярок	98
Рыжие листья	99
Упование	101
Черная молния	102
Письмо с обратным адресом	103
Когда вспыхнет	105
Идея	106
Метод	107
Голос Синатры	108
Я есть	109

Фонтан	110
Клоун	111
Уши	112
Грохот	113
Писака	115
Люля-кебаб	116
Та зима, та труба	118
«Я тоскую по Родине...»	120
Шалалабубудабубуда	122
Деревья стали другими	124
Пока горит спичка	126
Письмо	130
Собиратель бутылок	134
Кортик	137
Синие шары	141
Клейкие весенние листочки	145
Матрац	148

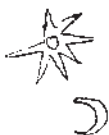
IV УРФИНДЖЮС

Урфинджюс	153
Лунная походка	158
47	161
Пелагея	162
Танцующий кореец	163
Тихонин остров	167
Апельсин из Марокко	170
Тараканище	173
Наполеон	175
Пастух и пастушка	177
Эликсир жизни	179
Средство от депрессняка	183

Речь	185
Отрывок из неначатого романа	187
Сон счастливого человека	189
Мальчик и смерть	192
Ореховая сероглазка	194
Ночь на восьмое	196
Лестница	199

ОБЛАКА ТЕЛЬ-АЪИЪА

Странствия памяти и беспамятства	207
Н.Ф. Болдырев. ЪТОРОЙ НОМЕР (Послесловие)	271
ОБ АЪТОРЕ	281



Литературно-художественное издание

Нефёдов Сергей Михайлович

Лунная походка

Избранная проза

Координатор проекта – Андрей Яшин

Общая редакция и литературная редакция – Николай Болдырев

Дизайн и верстка – Владислав Кузавский

Фото на стр. 283 – Владимир Бейс

Корректурa – Анна Ясенева

Подписано в печать 22.06.07. Формат 60x84/16

Гарнитура Garamond. Печать офсетная

Заказ №

Издательство Игоря Розина

Тел.: + 7 904 812 18 07

E-mail: igor_rozin@yahoo.com

Отпечатано в ООО ПК «Зауралье»

640022, г.Курган, ул.К.Маркса, 106

E-mail: zpress@zaural.ru

